



Н·С·ЛЕСКОВ

Знамя, 1992

FB2: Vitmaier, 2008-08-26, version 1.0

UUID: c8eb3696-c4c9-102b-820b-a6c4e11ded4e

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Семёнович Лесков

Неоцененные услуги

Содержание

Отрывки из воспоминаний	0005
I0012
II0018
III0023
IV0029
V0032
VI0036
VII0041
VIII0050
IX0061
X0069
XI0072
XII0075
XIII0085
XIV0088
XV0097

Николай Семёнович Лесков

НЕОЦЕНЕННЫЕ УСЛУГИ

Отрывки из воспоминаний [1]

В этом впервые публикуемом рассказе, пролежавшем под спудом более ста лет, каждый, кто когда-нибудь всерьез читал Лескова, сразу обнаружит немало знакомого – начиная от речевых оборотов, лексики, интонаций и вплоть до сюжетных ходов, мотивов, даже персонажей. Потеряв надежду напечатать рассказ, писатель долго сохранял привязанность к самому замыслу, растворив его фрагментами в новых своих произведениях. Но с легкостью опознается здесь рука Лескова и по другим, более глубоким причинам. При всей пестроте и многокрасочности его творчества – о чем давно и справедливо пишут – мир Лескова поразительно устойчив: из произведения в произведение кочуют герои с повторяющимся набором качеств, со сложившимся распределением ролей, дублируются ситуации, перекликаются мотивы – как бы осколки утраченного (или несобранного?) национального эпоса, творимого, конечно, самим писателем.

Речь идет не обо всех произведениях Лес-

кова, но о центральных, принесших ему известность, даже и скандальную: хроники «Соборяне» и «Захудалый род», роман «На ножах» и знаменитые «рассказы о праведниках» – такие, как «Несмертельный Голован» и «Однодум». Они органично складываются в единый текст, живя по общим законам, где почвенная провинциальная Россия противостоит «безнатурной» столичной, а всеми презираемые чудачки – ходячей условной морали, где подлинная религиозность (и ортодоксальная, и сектантского толка) попирается показной набожностью, где добродетель бессильна перед интригой, а трезвый взгляд пасует под напором массовой истерии. Немало страниц заняла бы и беглая характеристика этого мира, но вряд ли в ней есть необходимость: знакомясь с публикуемым рассказом, читатель сам вспомнит излюбленные лесковские ходы.

И все же: произведение, так и не прорвавшееся к массовой аудитории, написанное в полуфельетонной манере, по следам конкретных – прочно сегодня забытых – политических событий, оказывается в одном ряду с ключевыми в творчестве Лескова текстами?

Не преувеличение ли?

Ответ даст читатель. И конечно – время. Стоит, однако, иметь в виду, что Лесков вынашивал этот замысел не один год и провел его через цепь вполне завершённых редакций, настолько к тому же разных, что некоторые из них могут читаться как самостоятельные произведения (первое упоминание о замысле относится к 1888 г., один из промежуточных вариантов – к 1891; окончательный текст появился, видимо, чуть позже). Эта настойчивость в работе – не такая уж, кстати, частая у Лескова – симптоматична. И прежде всего бросается в глаза, что почти все те реальные лица (выведенные в основном под вымышленными именами), кого Лесков рисует в рассказе с неизбывной иронией, называя «людьми крутой патриотической складки», двумя десятилетиями ранее составляли круг его непосредственного общения – отнюдь не тесный приятельский кружок, но сообщество единомышленников, связанных сотрудничеством в одних и тех же – консервативных – изданиях и тяготевших к платформе М. Н. Каткова, признанного «столпа» правой печат-

ти. Альянс, правда, был недолгим. В начале 1870-х гг. писатель всерьез разделял их взгляды, но уже к концу десятилетия бесповоротно им изменил.

Политические убеждения Лескова прошли извилистый путь – прихотливый, казавшийся многим путаным, но и выстраданный, и по-своему логичный. Разрыв с охранителями стал в его эволюции поворотной точкой: отныне суждения Лескова не то чтобы тронуты общественным скептицизмом, хотя часто складывается такое впечатление, но пронизаны глубоким неприятием партийной борьбы. Вне ее порочного круга найти ответы на существенные вопросы – вот, пожалуй, скрытая пружина поздней публицистики писателя. Потому, возможно, он столь настойчиво возвращался к своему замыслу, потому испытывал недовольство, вновь и вновь перерабатывая текст, что ощущал потребность в убедительной дискредитации любой политической доктрины – не только лево-радикальной (на полемику с нигилизмом Лесков положил едва ли не всю жизнь, расплатившись за это своей репутацией), но и консервативной,

некогда для него притягательной.

И хотя в рассказе затронуты события конца 1880-х гг, предметом авторской иронии оказались те самые панславистские упования, которые Лесков еще в 1870-е гг. наблюдал с близкого расстояния, завязав контакты с московскими славянофилами и прежде всего – с их лидером Иваном Аксаковым. Как писатель ни дорожил этими связями, но и в те годы панславизм казался ему ребяческой иллюзией, а десятилетием спустя, когда похмельем мучились многие из недавних защитников братьев-славян, разоблачить эту кампанию было особенно соблазнительно. Правда – и рискованно. В эпоху Александра III «люди крутой патриотической складки» все больше входили в силу, и неудивительно, что писателю так и не удалось довести рассказ до печатного станка.

Такова к тому же природа таланта Лескова, что критика идей обычно превращалась под его пером в карикатуру на их носителей, придавая самой масштабной полемике оттенок личной вражды, тем труднее маскируемой, что Лесков редко мог без раздражения

вспомнить своих давних единомышленников. И все же – маскируемой.

«Неоцененные услуги» – коварный памфлет. Четко пропечатанная поначалу картина с резко очерченными деталями и конкретными реалиями убеждает как будто, что перед нами правдивая история, бесхитростно изложенная непритязательным бытописателем, каким Лесков любил представлять, подбирая скромные подзаголовки своим произведениям. «Отрывки из воспоминаний», излюбленное авторское определение жанра, – не более как ловушка для доверчивого читателя: исподволь Лесков менял манеру письма, решительно смещал акценты и даже искажал реальные события, замутняя при этом картину загадочными несообразностями, подергивая полуромантической дымкой или смело шаржируя, нарушая пропорции и попирая масштабы. Не случайно в рассказе цитируется – и явно, и скрыто – М. Е. Салтыков-Щедрин. Лесков многому у него научился, взрастив, однако, гротескные приемы на совсем иной, не щедринской, почве. Идеализация и буффонада, лирическая стихия и комический

алогизм всегда органично уживались у Лескова, а в публикуемом рассказе сплелись столь тесно, что границы не ощущаются – и мы лишь с удивлением уже постфактум замечаем, что орловские предания, неизменно связанные для Лескова с незыблемыми этическими ценностями, внезапно травестируются петербургским высшим светом, вызывавшим у писателя глубокий скепсис.

Предмет самых заботливых попечений Лескова, «Неоцененные услуги» – как и все поздние дети – сосредоточили в себе особые авторские надежды, надолго, однако, погребенные в архиве. Жизнь рассказа начинается лишь теперь. Любопытно будет наблюдать, как сложится его судьба и как отразится в этой судьбе наше время – сродни ли оно надеждам писателя, побуждавшим его столь упорно возвращаться к своему замыслу?

В 1872 году по осени, когда я написал «Запечатленного Ангела», об этом рассказе услышала покойная фрейлина Пиллар фон Пильхау и от нее приехал ко мне генерал-адъютант Сергей Егорович Кушелев с просьбою – чтобы я дал рукопись, которую они хотели прочесть императрице Марии Александровне [2]. С этого случая у меня начались знакомства с несколькими домами, считавшимися тогда «в свете». Более прочих я сблизился с домом Кушелевых, где был принят дружески. Здесь я видел много разных интересных людей и между прочим встречался несколько раз с покойным дипломатом Жомини [3]. Мне очень нравился его тонкий и гибкий ум и прекрасная манера делать разговор интересным и приятным. Особенно я любил слушать, как он отвечал на предлагавшиеся ему «политические» вопросы или отшучивался от нападок на его «европеизм», которому тогда уже приписывали большой вред и противопоставляли ему то «трезвое слово» Каткова, то «патриотизм» Аксакова, то «аргументацию»

Ростислава Фадеева и «смелые ходы» Редеди [4].

Все это вызывало самые разнообразные оценки и давало повод к жарким и любопытным спорам, в которых наиболее отличался покойный Болеслав Маркевич, «ложившийся в лоск за Каткова».[5] Его антагонистом был Z, которого часто ввали «несогласным князем». Это был человек умный, а еще вернее сказать, остроумный, но «неопределенного направления» и, что называется, «пила». Он слыл также за легкомысленника, и нес порицания за то, что любил «шутить высокими вещами». – За это его не везде жаловали, и он успел одно время довольно основательно попортить этим свою блестяще начатую служебную карьеру, но после изменил свой характер и все исправил.

Искренних чувств и убеждений несогласный князь не имел никаких. Постоянство он обнаруживал в эту пору только в одном, – он всегда был противоположного мнения с тем, с кем в данную минуту разговаривал, и всегда был склонен доказывать, что всякий его собеседник служит бесполезному или даже прямо

вредному делу.

Любопытные воспоминания о виденном и слышанном мною в обществе этих лиц теперь еще не могут быть описываемы, а здесь я намерен рассказать только одну курьезную беседу, происходившую на нейтральной почве и сравнительно в позднейшие годы.

Раз летом мы с князем поехали к Кушелевым, в Царское Село, и при нас, незадолго перед обедом к ним зашел Жомини. Несогласный князь находился в расположении спорить и «прицелился» к дипломату по поводу занимавших тогда общество болгарских дел. Он повел беседу очень остроумно и игриво, но так плотно атаковал Жомини, что тот почувствовал тесноту и, сократив свой визит, удалился. А мы съели в благовремении предложенный нам обед, а после обеда пошли в довольно большой компании пешком в Павловск, и тут вздумали не возвращаться назад в Царское Село, а уехать прямо отсюда в Петербург. Наши хозяева провожали нас к самой павловской железнодорожной платформе, у которой мы застали готовый к отправлению поезд.

Это был один из ранних поездов, которые идут из Павловска почти пустые с тем, чтобы забирать еще из Петербурга пассажиров на музыку. В Петербург с таким поездом едут только очень немногие, – исключительно такие, которые приезжали в Павловск не для гулянок, а по какому-нибудь делу и спешат назад.

Не помню наверно, в котором часу отходил этот поезд, но с ним из Павловска отправлялось так мало, что когда я и князь взошли в вагон первого класса, то мы застали там только одного пассажира, и этот пассажир был не кто иной, как сухопарый Жомини.

Мы очень обрадовались такому приятному спутнику, заняли места в уголке, где могли надеяться, что к нам никто посторонний подсеживаться не станет, и у нас сразу же зашли разговоры, которые были продолжением царскосельской беседы, т. е. князь начал «народопоклонничать» и «нападать на дипломатию», а Жомини отшучивался и в этой игре стал давать князю шуточные сдачи, в которых было, однако, нечто характерное и достойное воспоминания.

Сначала князь и Жомини говорили между прочим о старой и новой дипломатических школах, о «меттерниховщине» и «горчаковщине» и противопоставляли приемам этих дипломатов «прямолинейный бисмаркизм». Князь в этот раз рыскал на славянофильских крыльях и на скаку метал «пестрый фараон». Он отстаивал «народный смысл» и безусловно отрицал какой бы то ни было <смысл в> дипломатических приемах, причем особенно едко осмеивал так называемые «интриги». По его словам, все интриги дипломатов всегда были только вредны, и никогда ни одна из них не повела ни к чему полезному.

– Ну уж, это слишком решительно сказано, – отозвался Жомини и добавил, что бывают случаи, когда прямо действовать в политике нельзя, и тогда интрижки бывают нужны и приносят пользу.

– Какого же рода это случаи?

– Разные, и, пожалуй, по преимуществу такие, когда приходится достигать полезных целей вопреки желаниям самого общества.

Князь пристал к нему с просьбою наглядно показать нам хоть несколько таких случаев,

где интрига дипломатов, действовавшая в противность общественному желанию, была необходима и принесла несомненную пользу государству.

– Эта задача нелегкая, – отвечал Жомини, – но, однако, мне кажется, я могу ее исполнить и, может быть, немножко помирю вас с интригою. Начинаю без всяких вступлений, потому что буду говорить вам о фактах, очень недавних и притом самых общеизвестных. Я расскажу вам, если угодно, про три интриги.

Нам это, конечно, было угодно, и Жомини начал беседу.

— Первое – я думаю, вы помните, когда за-
теялось дело о признании независи-
мости болгарской церкви?[6]

– Да; помню, – отвечал князь.

– В таком разе, вы должны помнить и голо-
са, воздымавшиеся тогда в пользу константи-
нопольского церковного главенства? – про-
должал Жомини. – Многим у нас очень хоте-
лось, чтобы не была допущена самостоятель-
ность церкви в Болгарии. По словам одной га-
зеты, которую почему-то почитают в особом
положении, – этого желали будто все истин-
ные сыны церкви. Дипломатия, собственно
говоря, всегда чувствует изрядное стеснение,
когда ей приходится согласовать свои дей-
ствия со вкусами церковных сыновей, и пото-
му мы им всегда уступаем, в чем можем, но
тут уступить было нельзя, потому что дело
касалось общего положения, невнимание к
которому со стороны церковных сыновей,
прямо сказать, равнялось ослеплению. Если
бы мы признали бесправие одной, хотя бы и
маленькой, славянской державы иметь свою

церковную независимость от константинопольских отцов, то мы подали бы логически вытекающий отсюда повод отвергать право точно такой же самостоятельности и за православную церковь в большой стране, потому что ведь не в величине страны дело...

Но тут князь перебил Жомини и сказал, что Россия и Болгария – это очень большая разница! и притом для нас этот вопрос о церковной самостоятельности уже давно решен в нашу пользу и под это решение никто не станет подкапываться.

– Конечно, конечно – покуда «с нами Бог» [7] Бог и с нами Бог...» (Revue des etudes slaves, Paris. 1986, э 3, р. 451).], но мы не знатоки церковного права и по своей дипломатической трусости боимся опираться на средства малоизвестные, и потому предпочли обратиться к тому, что уже испробовано и что дает известные, определенные результаты...

– То есть вы сынтриговали, чтобы болгарам не было запрета выделиться из-под зависимости патриарха.

– Да, – немножечко сынтриговали.

– И болгары вам за это прекрасно заплати-

ли...

– Я не совсем ясно понимаю: о какой вы говорите плате? Вы, может быть, понимаете их «неблагодарность»?

– Конечно!

Жомини сделал гримасу и отвечал:

– Ну, благодарность в политике... Это знаете, ведь такие вещи, о которых напрасно говорить, и мы, сынтриговав, как умели, против русских друзей византийских монахов, заботились вовсе не о том, чтобы сделать удовольствие болгарам, о которых мы имеем довольно близкие представления; а мы берегли Россию от всякого беспокойства когда бы то ни было вновь думать и рассуждать о том, что у нас сделано в своей лаборатории и по своему рецепту.

– Я вас понимаю, – сказал князь, – но как же вы это оборудовали? как вы интриговали?

– А это после... когда-нибудь... И поверьте, это совсем не особенно хитро и интересно, а только хлопотливо.

– А очень хлопотливо?

– О, очень! время обнаружит со временем все наше интриганство в этом деле, и тогда

окажется, что мы иногда стояли на высоте патриотического призвания не ниже тех, которые иногда слишком громко шумят о своем слепом патриотизме, и вы согласитесь тогда оказать мне доверие, – что интрига бывает нужна, а теперь я расскажу вам о некоторой другой интриге, которая опять касается такого неважного с вида дела, до которого внешней политике, собственно говоря, как будто никакого касательства нет, но которое люди крутой патриотической складки так поставили, что бедные дипломаты почувствовали необходимость пуститься в интригу, чтобы помешать довольно большой глупости и остановить позорнейший скандал, затеянный дальновидным дипломатическим умом самого Каткова.

– Как это: вы сочетаете слова: «глупость» и «Катков». Разве Катков делал глупости?

– Делал, и очень большие, и очень грубые. Не позабудьте, что он открыл и навязал России таких людей, с которыми ни один порядочный человек не хотел бы знаться. Из них здесь назову Ашинова.[8]

– Ах, вы это об этом «воровском казаке»! –

воскликнул князь и расхохотался.

– Да, вот я об этом господине Ашинове, от воспоминания о котором вы теперь изволите так мило смеяться... Но ведь было время, когда возвешение о нем принимали иначе.

– Мне он никогда не казался ничем другим, как прощельгою.

– Это очень может быть, и я даже нимало не сомневаюсь, что всякий рассудительный человек не мог хорошо думать об этом артисте, но, благодаря нашему Михаиле Никифоровичу, мы с этим Ашиновым имели черт знает сколько хлопот, и это не дошло до большой глупости только благодаря нашей интриге.

Я, как только прочел в газете Каткова о появлении «атамана вольных казаков», так мне показалось, что почтеннейший Михаил Никифорович как будто изменяет своей прозорливости, с которою он нас учил и которой мы с благодарностию обязательно слушались, но на этот раз мне показалось, что нам трудно будет соединить свои обязанности к нему с требованием служебного долга. Катков прямо шел к тому, чтобы свести правительство страны к якшательству с беспаспортным «воровским казаком» или бродягою; а нам, дипломатам, дорог престиж правительства! Михаил Никифорович, открывая дорогу этому милостивому государю, очевидно, заигрался, но ему еще верили, а он верил проходимцу, выступающему на арену искателя приключений с ребяческою отвагою старинного самозванца. По-нашему, сразу было видно, что затевается очевиднейшая глупость! Теперь, при облегчении всякого рода сношений, этого рода выходки ведь не могут достигать таких больших успехов, как было во время оно... Но,

однако, Михайле Никифоровичу все удавалось, и тут вдруг удалось так прославить Ашинова, что его не только стали принимать в дома, но захотели даже «ввести его в круг действий»... Все это произошло так скоро, что, когда мы получили об этом авантюристе кое-какие сведения, и притом сведения, очень для него невыгодные, – Катков уже втер его в благорасположение очень почтенных особ, и Ашинова пошли возить в каретах и передавать с рук на руки, любуясь его весьма замечательными невежествами, какие он производил с безрассудством дикаря или скверно воспитанного ребенка. Он каждый день появлялся за столом у кого-нибудь из вельмож, которые хотели особенно слыть за патриотов, звал холопски полуименами государственных людей и не только не отдавал чести высшим военным чинам, но охлопывал по плечам приближавшихся к нему за трапезами генералов и всем давал чувствовать, что «боится отравы». С этой целью он или ничего не пил за столом, или же пил только из чужих рюмок и из чужих стаканов... Да, да, да, – я ничего не преувеличиваю, а говорю вам на-

стоящую правду, – этот наглый дикарь вообразил себе, что его у нас хотят отравить, и, приезжая в числе званых гостей, он не садился за стол прямо лицом к прибору, а помещался как-нибудь сбоку или на стул верхом, и или ничего не пил и не ел, или же бесцеремонно брал кусок с чьей-нибудь чужой тарелки и выпивал чужой стакан или чужую рюмку. И это все верно: я сам ездил смотреть его в один дом, – разумеется, incognito, и видел это раскосое лицо, эти ужасные бородавчатые руки, покрытые какою-то рыжею порослью, и слышал даже, как он говорил по-французски: «шерше ля хам»... Истинно, – «шерше ля Хам»... И Хам был найден, – это был сам он... он даже потрепал при всех по лысине генерала и поэта Розенгейма[9] и назвал гостей «дурашками»... «Чего, мол, смотреть на Европу!.. Дурашки»... И все это не конфузило людей, очень чутких к приличиям, а напротив, придавало значительности господину Ашинову, который после подобного баловства уже до того развернулся, что стал ходить в любые часы к министрам и настойчиво добивался свидания с ними, поднимая при отказе шум и

крик. Некоторым из них он в глаза наговорил больших дерзостей в их приемных. Одного са-новника он схватил за пальто в вестибюле его казенной квартиры, и тот насилу от него вырвался, покинув в руках его свое верхнее платье; другому он заступил ход на его лестницу, и все множество бывшей при этом прислуги не посмели его отодвинуть и не подали никакой помощи своему господину. Словом, Ашинов, по его собственным словам, «развел такое волнение», что в этой поре его крайнего успеха ему стали предлагать еще одну аудиенцию, при которой он надеялся «стать в голове всех казачьих войск и, набрав денег, всем утереть нос»... Михаил же Никифорович, с позволения вашего, так одурел, что и эту претензию проходимца почитал за «необходимое завершение прибытия этого смелого человека в столицу русского царства». Это стали поддерживать за обедами общественные ораторы, а также и известные деятели в печати, а один молодой поэт даже читал друзьям стихи, заготовленные к дню свидания, а «серая публика» ходила смотреть «подносного мальчонку и зверушку». Все ки-

пело и все уже было начеку. Нашлась достаточная доля и между сановниками, которым очень нравилось, чтобы господин Ашинов успел в своей «конечной цели», и... и – стыдно вспомнить, – все почти тогда вслух говорили, что «никаким прошлым этого человека стесняться не стоит». – «Мало ли, что он „воровской казак“! Казаки и все не ахти какие чистюльки... Если бы предки наши стеснялись казачьим воровством Ермака, то не получили бы Сибири!» – И уж как дошли до этого примиряющего с воровством прецедента, то все сомнения пали. Все вдруг обрадовались и, как говорит Щедрин, – «со всяким стыдом сразу покончили». Положение привольное! И оно с известной, патриархальной, точки зрения, пожалуй, может быть, и в самом деле было бы для домашнего обихода хорошо, но мы, злополучные дипломаты, стоим на пороге, так, что у нас затылок дома, а глаза в чужие край смотрят: – мы не находили радости давать соседям право утверждать, будто у нас «со всяким стыдом покончено», и... опять явилась необходимость что-то сынтриговать... Быть может, вы нам и эту вторую интригу

простите?

Князь молча поклонился.

– Ну да, – продолжал Жомини, – я вижу, мы с вами все больше сближаемся и, может быть, пока доедем до Петербурга, совсем объединимся в наших понятиях об интриге. Я вам до сих пор указал только случаи, когда мы поинтриговали, а теперь я приведу очень веселый случай, при котором покажу самый процесс, как приходится вести интригу, и вы увидите, что это есть настоящие и неоценимые наши заслуги.

IV

Дело касается опять тех же самых болгар, которых вы упрекнули политической неблагодарностью. Но нам приходилось действовать не против неблагодарных, а против тех, которые делали историю другого рода. Вдруг оттуда стали прибывать сюда к нам болгары, которые приносили нам жалобы на своих за бесцеремонное с ними обхождение: проще сказать, они жаловались, что их секли!

– Что же? ведь это и в самом деле было, – сказал князь.

– Да; все говорят, будто было, – отвечал Жо-мини, – и наша дипломатия этого не отвергла, но ведь их прибывало все больше и больше, и каждый говорил: «Меня, братушка, секли», – «и меня секли», и «ой, и меня секли»?.. Я вас спрашиваю: что же мы могли всем им сделать? Сначала первым, которые успели сообщить нам об этих неприятностях, мы доставили из наших средств некоторые утешения; но в этом-то и была ошибка. После этого оттуда хлынул целый поток пострадавших, и каждый хотел быть утешенным... Это стало

казаться странным: выходило, что жестокий Паница сечет своих бедных соотечественников ежедневно и направо и налево...[10] Где же нам всех этих обиженных утешить и устроить? Положение г<осподина> Паницы было гораздо легче, чем наше: чтобы высечь человека, нужно немного, а чтобы устроить его на хорошее положение – требуется гораздо больше.

Ведь для этого пришлось бы оставить все другие дела и только заботиться о них... или надо было образовать особую комиссию, а у нас нет для такого делопроизводства ни особенных чиновников, ни особенных средств... Мы стали от них прятаться, а они начали на нас жаловаться, и это принесло нам серьезное горе, потому что за них вступилась Цибела, – это есть такая, знаете, дипломатическая дама, живущая за границею, которая и нам иногда бывает удобна, но чаще очень не удобна. У нее здесь есть на послугах один редактор, ее Корибант с тазиком вместо головы: он за ней идет и в бубен бьет, и в барабан гремит – чтобы только шум сделать.[11] Цибела приняла обиженных под свою крепкую руку,

а Корибант пошел печатать ее «артикли»[12] о «пострадавших мужах», где попутно бросали на нас укоризны... Мы старались сбывать это с рук, уступив участливое попечение о «высеченных мужах» другому ведомству, но это другое ведомство сверх ожидания оказалось очень хитро и лишено благородного честолюбия, оно отказалось принять «оскорбленных мужей», и наше положение становилось крайне щекотливым... А вдобавок в это же самое время пришли кое-какие известия, – что в числе утешенных нами пострадавших мужей были два обманщика, которые вовсе нимало не страдали от Паницы... И что же, если это продлится и далее?

Но тут – велик Бог земли русской – восстали сами из среды людей оный славный Редедя и Корибант Цибелы.

Корибант приехал к нам в каком-то невероятном мундире какого-то никому не известного ведомства и попросил у нас сведений: что нам известно о «мужах» и что мы намереваемся для них делать?

Конечно, ему можно было ничего не сказать, но он был так мил с этой своею наивностью, что я отступил от меттерниховской системы и увлекся прямолинейным бисмаркизмом. Я сказал Корибанту, что нам очень трудно успокоить всех высеченных «мужей», и к тому же нам известно, что иногда на это жалуются такие, которые на самом деле едва ли были высечены...

Но тут Корибант добродушно меня перебил и сказал:

– «Едва ли»... Это смешно! Как же это «едва ли»? В этом можно убедиться!

– Однако, – говорю, – к сожалению, или, пожалуй, к радости за них, – есть место для таких сомнений.

– Вздор! вздор! – затвердил он и замахал рукою, – я говорю вам – я в этом убежден!

Мне он показался очень интересным, и я его попробовал убедить, сказав, что имею об этом «достоверные сведения», но это заставило его еще более развернуться. Наши «сведения» вызвали у него уже не улыбку, а хохот.

Он прямо объявил, что нашим сведениям не верит и может их опровергнуть.

– Да? – воскликнул я, – вы можете это опровергнуть! В таком случае, – сказал я, – ваши возможности шире наших.

– О, без сомнения!

Поняв, какого сорта этот человек, мы ему не возражали, а старались, чтобы он ушел от нас ничем не огорченный, и потому сказали ему, что если мы получим удостоверения, что наши известия неверны, то мы от них откажемся, но – чуть только Корибант услышал слово «удостоверение», как он дернул презрительно плечами и, хлопнув себя ладонью по своей жирной ляжке, заговорил повышенным тоном:

– Вот, вот, вот!! Теперь я чувствую, где нахожусь! «Удостоверение»! – Это именно то слово, которого я ждал и дождался. И это у нас всякий раз во всяком разговоре с чиновника-

ми, какого вам угодно ведомства. А это «удостоверение» – и есть наш позор и самая величайшая нелепость! Какие вы тут можете брать удостоверения? Вы, дипломаты, ведь думаете, что когда Паница выпорот своего соотечественника, то он сейчас же дает ему удостоверение! Вы ошибаетесь! В Болгарии порют, но письменных удостоверений в том для предъявления вам не дают. И этого нельзя и требовать! Или то есть, может быть, это и можно потребовать, но ведь за это положат, да еще раз выпорют. Ведь надо, господа, знать положение: надо быть высеченным, чтобы понимать, что им не до того, чтобы требовать квитанцию или расписку... Ведь это потрясает и это волнует!.. В этом состоянии – скорее можно на него кинуться и удушить его за горло!..

При этом Корибант очень грозно выдвинул вперед свои руки с намерением показать, как берут человека за горло, но, заметив, что все от него почтительно попятились, засмеялся и воскликнул:

– А что! вы теперь видите, как это страшно! Как же вы требуете от бедных болгарских

мужей, чтобы они требовали от Паницы удостоверения!

Тут, однако, я ему заметил, что вся беспокоящая Корибанта требовательность является только в его живом воображении, а что из нас решительно никто и не помышлял о том, чтобы требовать от «мужей» письменного свидетельства от их оскорбителя; но Корибант плохо меня слушал и повершил беседу тем, что такие «удостоверения», которые сам он признавал сейчас нелепыми и невозможными, – на самом деле очень возможны, «если бы только Паница не был такой подлец, с которым нельзя иметь никакого дела и даже не стоит терять слов».

Против этого наши дипломатические привычки не позволили нам делать ему никаких дальнейших представлений, и редактор отбыл от нас, по-видимому, весьма довольный сам собою и нашим смиренным положением, которое он, вероятно, счел за приниженность перед его неукротимую славянскую бойкостию.

VI

А меж тем высеченные мужи продолжали прибывать, и редакция возвещала об этом на столбцах своего издания, — что публику немножко волновало, а потом примелькалось и как будто стало надоедать.

Болгарам бы, кажется, надо было попридержать этот приток сеченых мужей или выдумать какую-нибудь другую жалостную историю, но те из них, которым приходила фантазия ехать в Россию с жалобами на обхождение Паницы, были неумеренны, а покровительствующая им редакция ненаходчива, и благодаря соединению этих двух свойств, они вместе продолжали все бить в одно место и одним и тем же снарядом. Мы же меж тем получили самые несомненные доказательства, что самочинства Паницы существуют своим чередом и экзекуции над его политическими противниками действительно бывають, но что сравнительно случаи эти известны все наперечет и что в перечисленных жертвах его экзекуций не было нескольких лиц, дебютировавших на вечерах редактора в качестве «вы-

сеченных болгар». А потому, когда Корибант посетил нас еще раз с целью «повлиять на министерство» и склонить нас «поддержать его агитацию», то мы отвечали ему, что никакого изменения в нашей роле сделать не можем и что желали бы даже, чтобы и он себя немножко успокоил, так как дело о сечениях представляется ему в преувеличенном и даже совершенно в ложном виде.

Он на нас вспыхнул и немножко покричал и затем уехал, и после этого свидания между ним и нами произошло значительное охлаждение, сделавшее личные сношения неприятными и нежелательными. Но зато «постолбцам» издания в это же время так и побегал каскад самых горячих сочувствий высеченным «мужам», и рядом с тем пошло усиленное их личное представительство на еженедельных вечерах редакции. Говорили что-то почти невероятное, рассказывали, например, будто неприятностей, полученных этими приезжими людьми на их родине, на вечерах участливой редакции нисколько не скрывали, а напротив, даже сам хозяин как бы подавал их на вид, рассказывая всем прибываю-

ЩИМ:

– А у меня опять есть пара самых свежих высеченных болгаров... Хотите их видеть? – они сидят там у меня в кабинете и рассказывают. Там и Редедя... Очень интересно, как их секли... Ах! какой подлец этот Паница! Понимаете, ведь их самих секли!.. самих!.. И Паница... Понимаете – сам тут был при этом, когда их секли... Совсем обнажали! Что это за подлец! что за животное и какая это подлая старушонка, эта ваша Европа, которая может это сносить России!.. Проходите в кабинет и подождите там меня, – я только встречу здесь дам и сейчас приду туда, мы одного из них опять попросим снять платье... Вы увидите, что делает господин Паница!.. Я их уговорю... Они ведь очень простые, так сказать, эпические люди, да и чего стесняться!.. Им нужно общее участие, и вы увидите, что они на самих себе носят «удостоверения» зверств Паницы, в доверии которым желают соблюдать осторожность наши дипломаты, и вы, с своей стороны, поможете их где-нибудь пристроить.

Словом, высеченных болгар у Корибанта показывали!.. Вы меня извините: я сознаю,

что это нескромно, и – мне это тогда казалось и даже и невероятным, но, однако, очень солидные люди уверяли меня, будто они сами видели этих редакционных болгар, и на них были знаки истязаний. Да, видевшие были этим потрясены и после очень заботились о пособии несчастным и об их устройстве. Сам я этого не видал, но верю. Редактор и меня приглашал, но ведь мы в самом деле до известной степени несколько связаны своим положением и должны быть предусмотрительны ко всем случаям, при которых у кого-нибудь может явиться соблазн назвать нас как свидетелей в щекотливом деле. А дело с высеченными «мужами» велось так упорно и настойчиво, что угрожало сделаться очень щекотливым... Я это очень ясно предвидел или предчувствовал и знал, что не ошибусь, потому что, когда какая-нибудь глупость тянется долго и руководство ею находится в руках бестактных людей недальновидного ума, то непременно роковым образом для образования финальной развязки подвернется какая-нибудь неожиданность, и тогда скандал готов.

Так и вышло.

VII

Вдруг совершенно для нас неожиданно приехала сюда по своим семейным делам та знаменитая в своем роде русская дама, которую я назвал Цибелюю нашего Корибанта. Она проживает большую часть своей жизни в столицах Западной Европы, и думают, что она дает там тон в некоторых политических кругах. Не будем говорить – насколько это верно, но многие считают ее даже близкою помощницею русской дипломатии. В этом последнем представлении о ее роли есть, однако, значительная неточность. По правде сказать, она иногда доставляла дипломатии даже совершенно излишние хлопоты. Личный характер и пустозвонное настроение Цибелы были не совсем нам и с руки, и она очень часто хотела открыто против нас «будировать». В этот приезд она явилась к нам рьяною славянофилкою, и была нами недовольна, – даже пугала нас возможностью оглашений каких-то интимностей между Федором Ивановичем Тютчевым и канцлером Горчаковым, причем канцлер очень бы пострадал.[13] Как

только она пожаловала в Петербург, так сейчас же захотела взять в свои руки политику, проводимую ее Корибантом, и сама пожелала во что бы то ни стало извлечь пользу из положения «мужей», обиженных Паницею. По этому поводу в редакции состоялся особенно блестящий вечер, на который было созвано много самых разных знаменитостей и хорошо поставленных дам из круга, близкого соотечественнице. В числе сих последних по усиленной просьбе Корибанта поехала одна моя старинная знакомая, величественная по своим объемам персона, которую еще в бытность ее в институте девочки прозвали «Питулиною». – Это не было ее имя, но кличка, с каковою она и осталась на всю жизнь «Питулиною».

Питулина терпеть не могла ничего; что как-нибудь прикасается к литературе, но в угоду Цибеле поехала и прихватила с собою своих дочерей, – двух молоденьких и очень милостивых девушек, которых она, во внимание к обстоятельствам, согласилась слегка приспособить к «серьезному кругу».

Питулину считали неумною, но это было

напрасно: она была женщина неглупая, но отличалась странностями, – нескоро схватывала понятия и при значительной робости характера склонна была видеть во всем опасность скандала. Такая опасная привычка теряться у нее еще более усиливалась в тех случаях, если около нее или с нею начинали говорить по-русски. Сама она на русском языке умела говорить только на исповеди и с прислугой. На вечере же в редакции, где все должны были представлять из себя людей сильно занятых славянскими интересами, – все, кроме италийских певцов и французских актрис, считали обязанностью говорить по-русски. И сам хозяин встретил Питулину и ее дочерей приветствиями на русском языке и по-русски же сказал ей, что здесь есть болгары, «которые высечены».

Питулину это сразу же афрапшировало, и она спросила:

– Как это... именно здесь?.. высечены...

– Да, да... они здесь... здесь... Вон видите, этот высокий большой господин... monsieur...

– Ах – monsieur!.. вижу... вижу... именно такой высокий monsieur!

– Да, да: именно он: черный большой – его секли!..

– Ай! Зачем его так!..

– Вот, вот так его... так! Это видите liberte, «свобода»... Это Паница...

– Паница!.. Ах да... panique!

Она что-то не поняла или поняла не так, как следовало, и хотела уяснить это себе, но потом вдруг чего-то испугалась и заговорила:

– Да, я теперь именно поняла... И это... – Она покачала головою и добавила: неприятно!..

– Это возмутительно!

– Да... и... я не понимаю... зачем он сюда пришел...

– Отчего же?

– Да ведь ему... после этого должно быть неловкость...

– О нет! Они ведь очень простодушны. «Их так нельзя судить»... они как дети...

– Именно, именно как дети! – лепетала она, рассматривая в лорнет большого болгарина.

– Да; именно как дети, которые могут войти в царствие Божие... И притом, если бы он

такой был один, а то ведь он здесь не один...

– Не один!

– Нет, – не один.

– Скажите!.. отчего же он не один?..

– Оттого, что их много, очень много... почти даже которых здесь видите... Это почти все... Вон тот, что стоит с генералом... его секли; и этот, что рассказывает там у стола... он рассказывает всем, как это было, и вон тот, который танцует с этой красивой молодой графиней в платье с голубой отделкой...

Питулина вдруг вся вскипела и вскрикнула:

– Как! и этот... который танцует!

– Да, да... да они все танцуют... А вы, может быть, думали, что они под турецким игом сделались совсем дикими...

– Нет, я совсем не это именно думала... а как здесь мои дочери... Я не вижу, где именно теперь, в сей час мои дочери?..

– Успокойтесь, они там танцуют... Я вам их сейчас отыщу и позову, если вам угодно их видеть.

– Да... Ах... они уже танцуют... Ах, пожалуйста, позовите... мне их теперь именно очень

скоро угодно...

И, послав хозяина за своими дочерьми, Питулина встала с своего места в страшном волнении, и, как только девушки подошли к ней с оживленными от танцев лицами, – она в рассеянности спросила их по-русски:

– Что вы делаете! зачем вы танцуете!.. Вы погибли!

Те не понимали, что они сделали худого, и сослались на то, что здесь очень много кавалеров.

– Ну вот это и очень дурно, – отвечала Питулина, – я вас должна предупредить: здесь есть кавалеры, которые болгары, – и, если с ними протанцевать – вы погибли.

– Отчего же, тамап?

– Это нельзя здесь сказать, но я знаю, что они высечены, с высеченными не танцуют.

Но тут, – о демоны! – младшая из дочерей вспыхнула до ушей и в ужасе сказала, <что> она уже с одним болгаринном оттанцевала и дала слово другому, но ничего в нем особого не заметила, а старшая более спокойно сказала, что здесь нельзя и различить среди других гостей, кто болгарин и кто не болгарин.

– А если это так, то в таком случае, – мы сейчас же именно отсюда уедем, – решила Питулина и, забыв в перепуге весь хороший тон и приличия, пошла, подталкивая перед собою дочерей, к выходу.

Это, конечно, не прошло незамеченным и вызвало изрядное смятение, и в самом деле, – это было скверно, потому что могло послужить очень опасным прецедентом к тому, что и другие дамы и девицы не пойдут танцевать с болгарами и начнут исчезать из залы.

Корибант это понял и ринулся вслед за Питулиною и сильно упрашивал ее остаться, но она была непреклонна и в ответ на скверное лопотание хозяина по-французски мужественно выгвазживала ему по-русски:

– Нет уж, я именно уеду и дочерей увезу, и вы себе это ничем извинить не должны, потому что все знают, что с теми кавалерами, которых секли розгами, после этого образованные девушки из общества не танцуют...

Питулина сдействовала экспромтом, но действие ее было ужасное... Ее короткое вы-

ражение «с высеченными не танцуют» – было услышано и полетело от одних ушей к другим. Хозяин назвал Питулину заочно «дурю», но очень благоразумно поторопился сократить танцы и усадить гостей за столы с жареными индейками и бутылками кахетинского вина, – благодаря действию которого вечер окончился сносно, но здесь моей сказке еще не конец пришел, а моя сказка отсюда еще начинается.

Корибант был не из тех людей, чтобы остановить глупость на половине, и на другой день встал с тем, чтобы перелицевать черное на белое.

Не знаю, как он провел у себя остаток ночи, но, по-видимому, его в этом позднем уединении посетил тот находчивый гений, который часто слетал к Каткову и его Boleslas'y[14], – гений, научавший этих людей всегда делать из мухи слона посредством придания всякой житейской случайности значения политического события, причем обыкновенно всякий малозначащий факт произвольно обобщался с целю вереницею других, на сильно привлекаемых случайностей. И так

вырастал оно в свое время очень многозначившее и «вредное общественное настроение».

VIII

Я не был, конечно, на описанном вечере и ничего не знал о комическом испуге Питулины от танцев русских дам с болгарскими «мужами», но меня интересовал приезд нашей политической Цибелы, и в визитное время следующего дня я поехал к ней, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение, и тут встретил ее Корибанта. Он был в удивительном эмфазе: – он трепался как шаман, и в бубны бил и головою встряхивал и вообще громил и раздражал нашу «национальную бестактность» в лице наших светских женщин, для которых не находил в своем словаре довольно беспощадного имени.

– Это не женщины, не люди, не патриотки, а это какие-то чурилки, вздорницы... это чепухи...

Я попросил его рассказать: в чем дело?

Он не заставил повторять просьбы и тут же наскоро рассказал: какие неприятности ему наделала вчера Питулина тем, что увезла своих дочерей, будто не из редакции, а из какого-нибудь «бесчестного дома».

– Она понимает только кричать: «высечены! высечены!.. Не танцуют с высеченными»... Но ей и в голову не приходит вся разница, как и за что высечены!.. И наконец, кем высечены!.. Ведь это же срам!.. Это пошлость.

И, вскидывая руками свои жидкие волосы, Корибант воскликнул:

– Я хотел бы, чтобы об этом знала Россия! чтобы об этом знал целый мир!.. Эта госпожа... светская женщина, вдова сановника, который был представителем России, и мать дочерей, получающих значительные средства для их образования на счет государства... И что же в ней имеет Россия и эти девушки? – эти девушки... которые по их происхождению и положению не нынче – завтра сами, вероятно, выйдут замуж за людей, которым суждено будет играть роль в русском представительстве... И вот их школа! – вместо того, чтобы приучать их ловить момент, где поддержать высшие государственные цели и поднимать общественные симпатии к людям, которые наша креатура... которых, можно сказать, еще недавно почти что не было, а меж тем они – наши собратия по крови и по вере... И

которых вот, однако, никто ни во что не ставил и не признавал... а мы их творцы, мы их провидение; мы призывали их к жизни... явили их миру... можно сказать, что мы их сделали народом, и вдруг потому только, что какой-то негодяй взял и несколько почтенных людей из них высек розгами, – мы находим, что это унижительно и что нам с ними нельзя танцевать и не стоит знать... Русская женщина, вместо того, чтобы оказать им сочувствие и... именно их поднять... именно реставрировать... воодушевить их и всем дать пример, что таких высеченных должно уважать... чтобы это знали во всей чужеземной Европе, – а она, эта наша русская женщина конца девятнадцатого столетия, забывает совсем, что она русская... что она получает пенсию и должна, – обязана поддерживать единоверный нам народ, а она сама первая делает скандал и вслух говорит в редакционном доме, что она «не позволит своим дочерям танцевать с высеченными»! Девушки прелестные и очень милые, – они обе этого не чувствовали и рады были танцевать с кем угодно, но она их влечет... на абордаже... она их

тащит и подталкивает... Фи!.. пфуй!.. И так она насильно удаляет этих замечательно милых и прелестных девушек. Насильно! насильно, против их воли, берет их из дома, который у славян и у французов пользуется репутациею центра известного политического кружка!.. Ведь это же черт знает что!.. За это ее самое стоило б выпороть, потому что это ни на что не похоже и этого, я ручаюсь, не сделает никакая образованная женщина в другой стране, где есть настоящий, смелый... именно, я хочу сказать, смелый, именно бодрый патриотизм; такой патриотизм, который ни перед чем не останавливается, который к одним стучит, других гвоздит, третьих манит, за четвертыми бежит, гонится, догоняет, сам в их колесницы бросается, как этот Илья... или другие пророки...

Он произносил все это, выпуская слова бурным потоком, и сам часто задыхался и захлебывался, а, дойдя до пророков, вдруг как будто ослабел и изменил тон на ровный и повествовательный.

– Эту Питулину, – продолжал он, – стоило бы только презирать и наказывать презрением.

И как частный человек – я так бы и сделал, но, стоя у кормы и держа в руке руль общественного органа, я сделал над собою усилие и поехал к ней. Я сейчас от нее. Я поехал к ней, положив в бумажник нарочно заготовленную карточку с такою надписью, чтобы меня непременно приняли, – так как я приехал не жаловаться на обиду, а с самыми лучшими намерениями, – именно чтоб объяснить... чтоб именно извиниться даже как хозяин дома. Но все это оказалось совсем совершенно излишним, потому что она ничего политического и не думала: она меня сейчас же приняла, без всяких затруднений и прямо усадила к самовару – с ней чай пить... Я начал прямо... Я выразил ей сожаление как хозяин дома, что она вчера так рано уехала с моего вечера, и попросил ее убедиться в том, что для неудовольствия с ее стороны не было никакого повода. А она мне так же просто и чистосердечно отвечает: «Да и я на вас... Боже меня сохрани, – совсем ни в каком отношении именно и не сержусь, потому что вы меня и не обидели».

– Зачем же вы уехали?

– А это я уехала только оттого... когда я услышала, что этих, которые у вас были, очень секли, то я вспомнила, как в таких случаях принято, и увезла дочерей. А они бы очень рады, потому что им было весело.

Корибант говорит:

– Я взбесился, но подавил себя и говорю: сделайте милость – позвольте мне узнать: где это такое и в каких случаях так «принято». Я еще не помню на свете «таких случаев», где бы воспитанных и благородных людей за их мнения секли.

А она отвечает:

– Нет, вы не спорьте, – тоже и раньше за это секли: я очень хорошо помню, что когда меня и сестру привезли из института домой в Орловскую губернию, то... у нас был там в уезде один помещик Козюлькин... У него эта... была... взаправду такая фамилия...[15] И мама, когда нас повезла в первый раз на бал в собрание на выборы, то очень строго нам приказала, что мы можем танцевать со всеми кавалерами, но с Козюлькиным – нет, потому что его секли.

– Козюлькина секли! – обрадовался Кори-

бант.

– Да; татап сказала – секли!

– Кто же его сек?

– Черные кирасиры.

– И за что же-с?

– А вот именно... татап так нам и сказала, что когда в Орловской губернии стояли в деревнях кирасиры и у них был полковник Келлер, то они этого Козюлькина высекли. И с тех пор из дам и из барышень никто с ним не танцевал, потому что нельзя с высеченными танцевать – это даму роняет и не принято. Вот я только поэтому вчера вспомнила и уехала и дочерей увезла.

Корибант ей ответил:

– Помилуйте, как же вы сравниваете вещи, которые совсем нельзя сравнивать!

А Питулина говорит:

– Почему же нельзя сравнивать? Это одно и то же. Козюлкин... я его тоже помню... я его видала... он был даже очень красивый молодой человек и хорошо одевался, и притом лучше очень многих других говорил по-французски, но с ним не танцевали, и все даже удивлялись, как он именно мог себе позво-

лгать являться на выборы в собрание после того, как его высекли, а он их не застрелил на дуэли.

Тут Корибант вспылил и отрезал Питулине, что ее давнишний Козюльнин, без сомнения, был какой-нибудь уездный прощельга, вероятно, плут и человек не стоящий никакого внимания... которого если и высекли, то высекли за то, что он этого заслужил. И я, говорит Корибант, вполне понимаю дворян, что это их всех возмущало, что такой нахал и еще позволял себе являться в собрание на выборы. Но... ведь те люди, которых вы вчера у меня видели... Это позвольте... это ведь совсем не то... это совсем другие люди... которые... можно сказать, были только именно, неправильно загнаны... Это люди... наши единоверцы... люди, которые именно ничего низкого, ничего бесчестного себе не позволили и не сделали...

Но тут Корибант вдруг увидел ужасное непонимание своей дамы, после чего он решил, что на нее ни за что нельзя сердиться. Она его даже не дослушала и стала перебивать:

– Да... нет... вот уж позвольте! Позвольте мне тоже по правде сказать и заступиться... Козюлькин хоть давно уже умер, и именище его досталось его родной дочери, которая тоже овдовела: но и он тоже был нашей православной веры и подлости не делал, и его высекли не за мошенничество, а просто за смелость, потому что один офицер с одной бедной девушкой, которая была гувернанткой, очень дурно сделал и ее бросил, а этот Иван Дмитрич Козюлькин, он был тогда холостой и имел очень странные понятия. Он, когда помещики выгнали эту девушку из своего дома, взял ее с постоялого двора и спрятал у священника, а сам поехал сейчас же к офицерам и начал за нее объясняться и им выговаривать, а они его, разумеется, велели денщикам сложить, – обвернули мокрою простынею и высекли, а потом привезли в бричке к его усадьбе и бросили... А он был такой чудак, что пошел к священнику и сделал там при попадье этой девушке предложение, но даже и она не захотела, и как была из московского института, то попросилась к родным в Москву. И он опять не обиделся и отвез ее в Моск-

ву, к Николе Явленному, а сам потом женился на простой крестьянке и ни к кому не ездил кроме как к попу и на дворянские выборы, и там вести себя не умел до того, что когда губернскому предводителю Тютчеву[16] после его спора поднесли от всей губернии белые шары, так сумасшедший Козюлькин подскочил и на блюдо ему один черный шар положил. Но бесчестного он не делал, и хоть нам не позволяли с ним танцевать, а он и сам никогда никого к танцам не приглашал, а когда Анна Николаевна Зиновьева овдовела и приехала из-за границы в Орловскую губернию жить в свою деревню[17] и сейчас же сделалась у нас первою дамой, то она как-то это услышала про все шутовства Козюлькина... кажется, от протопопа, который имел большой крест и камилавку[18], и она его спросила: за что дворяне все Козюлькиным пренебрегали, и протопоп ей рассказал, а она сейчас же послала своего камердинера – просить Козюлькина познакомиться, и, пригласивши его к себе на бал на свои именины, открыла с ним танцы в первой паре в полонезе... И вдруг всеобщее отношение к нему с этих пор

перевернула... Это... потому что Анна Николаевна была за границею известна и перед нею в уезде все были очень искательны и уважали ее как первую даму.

IX

Тут Корибант, так прекрасно изложивший историю Козюлькина, опять привскочил и вскричал:

– Я ее за это и схватил за лапы!

Жомини говорил, что он этого будто немножко испугался, потому что не понял, какой эпизод за этим начнется. Он взглянул на Цибелу и заметил, что ее возвышенное дипломатическое лицо тоже оживлено большим вниманием.

А Корибант продолжал:

– Я ей сказал: вы мне сами дались в руки! И Питулина смутилась.

Тут Корибант даже засмеялся от удовольствия, какое принесло ему воспоминание о смущении Питулины, и представил ее манерою:

– Как именно я попала в руки? Что такое я сказала дурное?.. За что вы хотите меня... «по большой Тверской, по Калязинской»?

– И представьте себе – эта удивительная дама вдруг вся встревожилась и понесла:

– Можете именно спросить у всех старых

дворян в Орловской губернии, что я ничего не выдумала: Козюлькин действительно был, и Анна Николаевна Зиновьева существовать изволили...

– Успокойтесь, – сказал ей Корибант, – вам совсем нечего пугаться: вы отнюдь не сказали ничего дурного, а напротив, вы сказали самое прекрасное и достойное подражания! Этот ваш Козюлькин, хоть мелкий и ничтожный человек, но он в своем роде именно трогателен; а Анна Николаевна Зиновьева эта – просто прелесть и даже прекрасна! В ней вы даете всем живой пример и урок того, как должна поступать настоящая высокопоставленная дама.

Именно так и надо поступать, как поступила Анна Николаевна: она, как настоящая «первая дама», – взяла высеченного господина Козюлькина и прошла с ним в первой паре в полонезе. И этим все сказано. Dixi! Я сказал!

– Dixi! – опять повторил Корибант и, поклонясь картинно нашей дипломатической вдохновительнице, он сел – и умолк.

Момент был чрезвычайный – острый и в то же время какой-то уносящий и пленитель-

ный. Мы все трое глубоко чувствовали его серьезность, и я сам поистине, без всяких шуток говорю, что я никогда не забуду этих минут, врезавшихся в моей памяти с удивительной живостью и силой. Слово, которое теперь следовало сказать – очевидно, было за нашей достопочтенной хозяйкой, и она это чувствовала: все черты ее лица отлились теперь в прекрасный, целостный образ гармонического сознания своих сил и планов и надежд. Я едва смел глядеть на нее из полуопущенных век и вдруг... черт меня возьми, – мне в одно мгновение ясно стало, что ее совсем обвила и захватила к себе самая теплая и уносящая поэзия, а я здесь попал как нельзя более кстати, для того, чтобы вступить с этою поэзию *per fas et nefas*[19] в самое непримиримое противоречие и подставить ей ногу.

Я как сейчас помню особенное, не свободное от злобы удовольствие, какое я ощущал, притая дыхание, в ожидании того: чем прервет тишину безмолвия наша дама? И вот, когда она, перестав шевелить бахрому кресла, провела рукою по лбу и поправила свои дипломатические букли, я почувствовал, что в

ней, как говорит Фауст: Трепещут пульсы жизни вожделенно.

Я обратился в слух, и было что послушать! Она придала тону своего голоса гармоническую теплоту и задушевность и заговорила тихо:

– Ваш рассказ потряс меня глубоко!.. Он перенес меня далеко вдаль, к воспоминаниям детства... Я чувствовала вновь их – наши милые, патриархальные помещичьи усадьбы, где складывалась сильная, самостоятельная русская мысль и где доживали потом свой век такие Анны Николаевны. Святые женщины, святые! Их ничем нельзя было ни запугать, ни подкупить: они все видели и все разумели. Им подобает поклоненье. Я об ней тоже слыхала... об этой старушке Зиновьевой. Наша губерния ведь соседняя с Орловской, или, как наши мужики говорят: «мы в суседах». Мы с нею могли бы даже немножечко своими счесться, – так как она шла из рода Масальских. И в ней хорошо то, что она не только действительно хотела быть, но и умела быть «первою дамой» в своем дворянском мире. И была такою дамою, потому что сиде-

ла в деревне! Да-с! Но теперь наше дворянство выбито из колеи и рассеяно, и обретаётся не в авантаже... Если говорить правду, то за дворян с искренностью бьётся только один Мещерский, но он оклеветан и не может иметь силы.[20] Аксаков искренно любил славян, но относился неуважительно к дворянскому сословию... Ведь это он желал, чтобы «все русские люди были произведены в дворяне»! Да, да, да! Он это даже имел наглость напечатать![21] После этого я и Федор Иванович Тютчев ему вымыли голову, и он отпирался, – говорил, что это было сказано им в шутку, но Тютчев ему сказал: «Мой милый друг, – кого слушают многие, тот такими вещами не шутит»... А главное, он сам смеялся над дворянами, а сам угодничал Кокореву... Как он попал в московский банк и что получал там![22] Это ведь своего рода история, которая когда-нибудь сделается известною и удивит многих. А теперь кто мог бы сослужить службу, так это Ростислав Фадеев... Это был человек дворянской формы, но его заморили... Вы его близко знали, но я знала еще ближе: мы с ним провели многие дни в разго-

ворах в Вене, и я имею полное право сказать, что это именно был тот человек, который нам теперь был бы нужен, но его-то у нас теперь и нет... И я не обольщаюсь, что у нас кто-нибудь есть, а напротив, я не стыжусь сказать, что у нас теперь никого нет. Один самый сильный человек из партии Гладстона сказал мне: «Извините, но Бисмарк был прав, когда сказал, что у вас “не с кем спорить”». Я сообщила это покойному Каткову, и он это напечатал. И W., которого нам велят считать нашим другом, говорил мне по секрету: «Ваши все стоят на уровне старшего дворника, хотя и говорят по-французски». И любя знать правду, я считаю гораздо достойнее признать эту правду, как бы она ни была горька, чем лепетать такой вздор, какой я слышала от одного сановника на похоронах Каткова. Я ему сказала:

– Что ж теперь делать? Мы осиротели.

А он отвечает:

– Да; покойник незаменим... Разве на его место Циона поставить![23]

Я так и вскрикнула:

– Как Циона? Вы знаете ли, что такое Ци-

он?

– А что же, он, кажется мне, очень ловкий.

– Но разве это все, что и нужно?

– А чего же в нем нет?

– Чтобы заменить Каткова, надо иметь его ум, гений и характер.

– Да, – он имел блестящее изложение.

– Не только изложение, а и характер!

– Да; но я с ним ладил.

Надо было обладать всей моей выдержкой, чтобы не ответить этому умнику: «Милостивый государь – вы со всеми ладите и ничего не стоите. Спешите скорее в ваш Петербург и постарайтесь держать при себе сколько-нибудь способных людей, которые могли бы не совсем скверно управлять от вашего имени вашей частью»... Слушать этих людей – берет только зло и досада... Мы, «бабы», по крайней мере не затемнены канцелярщиной, и мы видим дела яснее и проще... Я там же, на похоронах Каткова увидела, что здесь стало не с кем говорить, и уехала к моим заграничным друзьям. С теми я если и не могу соглашаться в их взглядах на значение и внутреннюю политику России, то у меня с ними есть другие

пункты... И наконец, – просто они хорошо воспитаны, и я к ним привыкла, а у нас по всем теперешним седым головам прополз в свое время нигилизм, и нет ни на одного надежды... У молодежи – стерляжьих сапожки и такие же стерляжьих мордочки и сердца... Я ничего не жду и от молодежи... «Ее грядущее иль мрачно, иль темно...»[24] Но вы мне бросили слово, оброненное вам очень простосердечной моей приятельницей о «первой даме», и у меня забилося, замерло и вновь забилося сердце...

Жомини остановился и молвил в другом тоне:

– Я вдруг ее понял!.. Понял, и у меня тоже забилося, замерло и вновь забилося сердце.

Х

Так, господа: я вам рассказываю теперь ужаснейшую вещь и говорю – как я был ею встревожен, а вы спокойны, и это значит, что вы не поняли, в чем заключался ужас того положения, которое начало образовываться и обозначаться, и я... не знаю... право, мне кажется, я хотел молиться и благодарить Бога за то, что Он привел меня сюда в этот роковой час, когда под буклями нашей Цибелы блеснула обрадовавшая ее мысль, от которой у меня зашевелились на голове все волосы! Я понял, что она облюбовала роль той стародавней старушки Зиновьевой и откроет состязательную игру на роли «первой дамы»... Я в ту же минуту представил себе все, как они ринутся в это состязание, – с таким азартом и до чего доведут свое усердие! Я до того покраснел, что, боясь себя выдать, поспешно встал и, подойдя к окну, прислонил лоб к настывшему стеклу...

К моему счастью, ни Цибела, ни Корибант не заметили моего волнения: они оба были так заняты собою и происходящим между ни-

ми живым обменом мыслей, что, вероятно, приписали мое фортификационное движение любопытству к какой-нибудь уличной сцене или простому желанию посмотреть, какая на дворе погода. – И они действительно уже спешили сообщать друг другу имена самых знатных дам и обдумывали план – как «возбудить в них чувство» и склонить их к тому, чтобы они будто бы сами по себе захотели подражать орловской Зиновьевой. Тогда им только намекнуть, что для них есть занятие, и они вдруг сделают все, что хотите. Предположение же было сделать «реставрацию чести», – то есть как Зиновьева восстановила в человеческом достоинстве оскорбленного общим отчуждением высеченного Козюлькина, – так, чтобы все наши теперешние «первые дамы» восстановили «достоинство болгар». Для этого надо было устроить очень большой бал, и на этом бале дамы должны побрать под руки всех болгар, потерпевших неприятности от Паницы, и пройти с ними полонез...

– Ад и смерть! – воскликнул Жомини, – и ведь все это могло случиться, и все это чуть-чуть не случилось!

– А отчего же оно не случилось?

– А Бог спас! иначе не могу и судить, как спас Бог или Николай Угодник. – Вот слушайте!

Жомини и теперь был в волнении: несмотря на свой прекрасный дар речи, он несколько минут не мог подбирать слов и произносил отрывочно:

– Этот заговор меня просто подавил: я чувствовал его сбыточность и потерял... все обладание... Я стоял у окна, как madame Лот при взгляде на пылающий город... Я ни на минуту не сомневался, что он, черт возьми, скоро запылает, и нам тогда только и останется стоять к нему лицом, а к Европе спиною, чтобы наших глаз было не видно...

Тут Жомини на мгновение умолк, а князь снял свою военную фуражку и перекрестился.

– Да, да, да! – продолжал дипломат. – Это невероятно, но все это чуть не случилось, а тогда мы, бедные дипломатишки старой, негодной меттерниховской школы, извольте выворачиваться и это расхлебывать – изъяснять, разъяснять, лгать и представлять все в ином виде... Нет! Этого нельзя допустить – надо интриговать, чтобы это стало невозможным! Таким образом, надо лезть не в свое де-

ло. Пусть за это на нас и позlobятся, и, может быть, придется перенести какие-нибудь неприятные замечания, но не все же ожидать только приятностей! Надо делать свое дело! Нельзя без интриги! Хвалите господина Бисмарка, что он будто не интригует, но ведь он и таких затруднений не знает! Бисмарк никогда не переживал столкновений с дамами, которые хотят произвести турнир в полонезе...

Князь рассмеялся, а Жомини ответил, что это совсем не шутка, – что открыто сражаться с такими противницами нельзя...

– Я с вами согласен, – подтвердил князь.

– Вы это признали?

– Да; признаю.

– Ну, а потому и здесь опять нужна была интрига.

– Нетерпеливо хочу о ней слышать, и все время буду желать, чтобы она имела успех.

– Да; она, конечно, и имела успех; но только кому мы этим обязаны, кто нам оказал эту неоцененную услугу – я и сам не знаю.

– Да вы же, я думаю, и оказали.

– А вот то-то, что нет!

– Так кто же?

– А вот, пожалуйста, слушайте, и разберите: кто в самом деле оказывает иногда самые неоцененные услуги.

XII

Заговор, который я открыл; был так ужасен, что я против него не мог ничего придумать. Те, кому я об этом поспешил сообщить – тоже только развели руками и решили ждать, что будет.

А я знал: что будет. Я знал, что это может удасться – но не знал: к кому обратиться и у кого искать совета. И тут-то вдруг пошло у меня мелькать в уме ашиновское присловье: «шерше ля Хам».

– Хам! Хам! явись мне, пожалуйста, в какой ты можешь оболочке, – и он явился.

Признаюсь, мне тогда доставляло немалое наслаждение слушать рассказы о том, как Достоевский в доме поэта Толстого гнал молодую барышню и образованных людей на кухню – «учиться к кухонному мужику».[25] Его не послушали: барышня У<ша>кова предложила ему самому пойти и поучиться у кухонного мужика вежливости. Вот это самое сподручное «шерше ля Хам», но в столкновении с дамскою затеею выводить в полонезе высеченных болгар – кухонный мужик не помо-

жет... А между тем, представьте себе, что без него ничего бы не было.

– Ах, шельма этакой!

– Да; да; этот monsieur le кухонный мужик сделал первое указание, а потом...

– Ну, вы, разумеется, потом...

– Нет, то-то и есть, что и потом еще не я, а другие, случайные элементы. Дослушайте, – это очень характерно.

Весь остаток дня после визита у дипломатической дамы я ходил встревоженный и огорченный, можно сказать, в каком-то сумраке, но мысль расстроить церемониальный полонез первых дам с высеченными Паницею болгарам меня не оставляла. Трудно, почти безнадежно трудно, но, однако, я еще не отказывался... Авось какая-нибудь случайность поможет!

Я свой план не бросаю: чуть явится повод – я готов служить делу.

Главная вещь – надо было дорожить временем: я слышал, как Цибела обещала Корибанту написать для его газеты «жаркий ар-тикуль». Он его напечатает завтра же. Там будут «шпильки на все стороны», и Цибела его

уверила, что ничего не следует бояться, потому что ее брат «хорош с цензурою»...[26] Она пошлет господина своего брата, и все сойдет благополучно... Чтобы статья имела большее значение – ее подпишет Редедя... На него подуются, но тоже... ему сойдет... Ведь он уже не в первый раз то на коне, то под конем... Потом она, – сама жестокая Цибела... О, что она наделает! Какой раздует пожар завтра же в городе!.. У нее в дорожном сундуке есть кучерский ремень и большие никелевые часы «на поясницу»... С этим ездят только очень занятые люди, у которых каждое мгновение рассчитано. Им некогда вынимать из кармана часы и смотреть на них: у них часы всегда висят на пояснице у кучера, так что циферблат их виден пассажирам и заметен публике, которая отсюда понимает, что это едет лицо, у которого очень дорого время.

Она спрашивала у Корибанта: есть ли это у его кучера, – но у его кучера этого нет, и он сказал, что «здесь этого еще ни у кого нет». Значит, у нее есть поясные часы, и она имеет, чем сразу же показать свою политическую деловитость. Она проедет всюду, и у нее

не будет недостатка в опытности и уменьи, как повести дело так, чтобы артикль, подписанный Редедей, произвел впечатление. Она трогает самые говорящие струны в первой скрипке, а нежные флейты ее подхватят, и оркестр зазвучит всей полнотой самых согласных звуков...

Если только есть какая-нибудь возможность достать у нас поясничные часы, то все дамы завтра же прицепят их на турнюры своим кучерам и понесутся по стогнам столицы из одного салона в другой, и все «забудируют» и доведут дело до того, что его остановить будет невозможно...

Почти целую ночь я не мог спать, а когда на другой день вышел на Невский, то увидел... не отгадаете, что: я увидел первых двух дам, несшихся в коляске, на козлах которой сидел кучер с часами на пояснице!.. Конечно! – мы пойдем в полонезе!.. Я почувствовал, что, несмотря на весь «зимы жестокой недвижимый воздух и мороз»[27] – земля горит у меня под ногами, и я сам за собою заметил, что в ответ на приветствия людей, которые говорили мне «здравствуйте», я растерянно

отвечал «прощайте!».

После этого только и оставалось спрятаться, и я ушел домой, встретив опять двух дам при кучере с поясничными часами.

Очень жаль, если будущий Пыляев[28] не отметит у себя, что поясничные часы в Петербурге стали употреблять по примеру Цибелы и именно по случаю политического полонеза, который желали устроить в честь высеченных болгар.

Но как это говорят: где близко горе, там близка и помощь божья.

Вечером, в этот второй день моей дипломатической тоски я завернул в клуб. Заехал я сюда без особенного желания кого-нибудь видеть, но с смутным влечением послушать: не говорят ли уже что-нибудь о полонезе?

В клубе в этот вечер не было еще настоящих политиков, но, однако, я застал нескольких очень приятных людей, из Парижа наш этот русский художник... вы его знаете... все так широко крестится и говорит, что всем бордо – предпочитает наше простое, доброе, русское вино!.. Очень милый человек! – И еще писатель Данилевский[29]... Ну, этого вы еще

больше должны знать... Очень большой талант, и переводят его на все языки... Потом другие тоже и один большой охотник делиться своими юмористическими наблюдениями над жизнью. Он прекрасно передает сцены из своих разговоров с простолюдинами, – преимущественно он говорит с извозчиками.[30] И теперь он сидел у камина и что-то рассказывал. Его окружали пять или шесть человек и m-г Данилевский. Он меня и пригласил. Говорит:

– Присядьте, послушайте: очень характерная глупость.

Чего доброго, – пожалуй, это уж знают о полонезе!

Я поблагодарил Данилевского и приткнулся к компании, и только что я сел, как рассказчик сейчас же и произнес:

– Является на сцену кухонный мужик!

Это было так неожиданно, что я вздрогнул на кресле и очень неуместно воскликнул:

– Как кухонный мужик?

– Ах, это презабавное *qui-pro-quo*[31], – отвечал мне Данилевский и, назвав рассказчика по имени, прибавил, что он рассказывает

qui-pro-quo одного кухонного мужика, у которого вышел престранный инцидент.

– С болгарами! – воскликнул я.

– Да: с болгарами, – вы это разве уж слышали?

Вы можете понять мое душевное состояние, мои и радости и муки, когда я это услышал!.. Он здесь, здесь налицо перед нами, наш «всечеловек». наш милый, универсальный кухонный мужик, и притом в личных и непосредственных qui-pro-quo с самими болгарами!.. Но еще надо мне прежде узнать: с какими же болгарами является наш кухонный мужик: с сечеными или с несечеными?

И представьте, мне объясняют, что именно дело идет о болгарях сеченых.

А мне это дороже всего: мне только и нужно было, чтобы мужик появился в сближении с сечеными болгарями, и учил нас, что мы должны в таком же сближении сделать!..

Но что же это такое у них было?

Я узнал следующее: у этого клубного члена, так любящего «беседовать с народом», есть его собственный, очень хороший и очень честный кухонный мужик, кажется, по име-

ни Николай. Он у него живет уже несколько лет и известен всем в доме с отличной стороны. Единственный порок его заключается в том, что он любит читать книги, не пьет вина, и никому из прислуги неизвестно, в какую он церковь ходит. За это на него было гонение со стороны набожной экономки, но хозяин случайно узнал об этом от своего камердинера и заступился за Николая. За это он был щедро вознагражден судьбою, потому что открыл в своем кухонном мужике объект для опровержения ненавистных «теорий Толстого». Мужик не только читал толстовские «китрадки»[32], но и вел такую странную жизнь, что его представляли «девственником». Наш приятель находил, что это «неестественно», и употреблял свое влияние исправить мужика, а потом уверял, что это не может быть, что мужик только хитрит и надо его подсмотреть.

Барин занялся своим кухонным мужиком даже в «в общих целях» – чтобы «наблюсти, как в живом человеке Толстой борется с натурой». Он делал об этом заметки и хотел со временем что-то написать к Толстому. А глав-

ное, – он был озабочен, чтобы «смесить мужика», то есть ввести его в соблазн и отпраздновать его падение; послав депешу Толстому. С этой целью он даже допускал себя делать подкупы у женщин, и писал к своему кухонному мужику анонимные письма, которые выдали себя, потому что были слишком искусственны. Женщина писала, например: «Превкусный суп моих удовольствий! Лакомый кусочек с господской передачки! Сердце мое по тебе иссушилось, как жареный картофель» и т. п. Кухонный мужик, получив это, прочел и оставил без внимания, сказав: «Кто-то шуткует».

Но вдруг наш знакомый узнает, что он напрасно так издали забирает: экономка сообщила ему, что мужик избалован в том, что он по ночам выходит на черную лестницу и сидит там на окне с очень старой и безобразной соседской кухаркой.

– Заметьте, – «старой и безобразной»! – подчеркивал наш приятель и вслед за тем всегда добавлял: А вот я еще по этому поводу задам гонку Толстому: я его спрошу – еще знает ли он, что у нас в простом народе есть аль-

фонсизм? Да, да; в простом классе не мужчина тратится на свою возлюбленную, как мы грешные, а мужчина обирает свою возлюбленную... Все эти горничные, прачки и швачки – они на своих любовников только и живут... Пусть Толстой не думает...

Но вдруг – афронт! Призванный пред очи господина кухонный мужик толстовской складки объявил, что он «соблюдал себя в чистоте», а к соседской кухарке на лестницу <выходил> по жалости, а она туда выходила «по страсти», то есть потому, что ей дома становилось страшно, так как она живет у болгарина, и когда к нему приходят другие болгары их веры, то у них такая игра, что они один другого секут, и ей это страшно, – она и выходит на лестницу, а он сидит с ней по состраданию.

XIII

Этот рассказ всех так заинтересовал, – говорил Жомини, – что один только Данилевский по своей неотложной редакционной необходимости встал и уехал, а все прочие остались рассуждать и толковать о том: что это за игра могла быть у болгар и какое она может приносить удовольствие всем играющим?

Одни думали, что это что-нибудь сектаторское, – теперь ведь очень много сект, – а другие склонны были видеть в этом «приемы спартанского воспитания», в духе которого недурно укрепить себя при Панице, а третьи думали, что это просто «правеж», так как этот болгарин давал деньги на проценты и, вероятно, сек неисправных плательщиков.

А рассказчик наш над всем этим засмеялся и сказал:

– Вы все не отгадали, – впрочем, и я тоже вначале не отгадал и велел сообщить управляющему домом, а тот, в свою очередь, дал знать околодочнику, и тот все выяснил.

– Как это любопытно! – прошептали мы переглядываясь.

– Да, да, да! – отвечал рассказчик, – и я так думал, что это любопытно, а это вышло, что этот болгарин или даже и не болгарин, а персианин или армянин приехал сюда торговать, но прогорел и стал лечить, – начал заниматься чем-то вроде массажа... «Коусек хлеба заробивал»... Открыл своего рода лечебное действие, которое так и назвал «пользительное похлопывание»... И к нему приходили больные ревматизматики или паралитики, и он их «немножко побиет, а они ему немножко заплотят, и всем оттого благо выходит».

Этот рассказ не только мне понравился, потому что он прост, занимателен и весел, но я в нем слышал и ощущал что-то утешительное и бодрящее. Что такое именно? – в этом я не мог дать себе отчета, но что-то будто сильное и властное стало на мою сторону и подставило политическому полонезу огромную ногу в валяной суконной онуче и в лаптях. Кухонный мужик что-то выудил, настоящий, находчивый ум с живою фантазиєю из этого непременно бы что-то сделали, и сделали бы как раз то, что нужно, чтобы расстроить полонез!

А это, прошу вас заметить, – это все было уже сделано!

XIV

Под влиянием охватившего меня жизнерадостного чувства мне не хотелось ни возвращаться домой, ни сидеть в клубе, и я заехал к Цибеле.

Я боялся, что было немножко поздновато, и постучал, а не позвонил в двери и чрезвычайно удивился, когда мне открыла их сама хозяйка.

Я извинился, что захожу поздно.

– Ничего, ничего, – отвечала Цибела, – наши друзья и друзья наших друзей приходят к нам всегда в пору. К тому же вы у меня еще застаете других друзей, и я только сейчас проводила Данилевского... Он тоже всего на минуту зашел и вышел... Как он, право, талантлив!

– О, да! – отвечал я, следуя за хозяйкою в зал.

В гостиной у Цибелы я нашел несколько достопочтенных людей, которые напирали на Питулину, присутствовавшую здесь без дочерей и высказавшую такую «грубую радикальность», что будто русские люди все «очень пу-

стоверны и всему могут верить, а ничего не понимают», и что ей сегодня нагрубил кучер и ни за что не хотел надеть часов на поясицу, потому что, говорит: «Я исповедь и святое причастие принимаю: мне стыдно, что на меня, в эту точку смотрели». После этого чего и удивляться...

Цибела ее перебила и сказала:

– Удивляться не надо, а благоговеть надо, – и она заговорила об особенных способностях славян к беззаветной вере, – черпала широкою рукою подходящий ей материал из старых и новых времен и потом вдруг кинула укор Гексли и другим ученым англичанам за то, что они не хотят оказывать доверия Бутсу [33]. Благочестивый мистер Бутс очень хочет, чтобы ему давали деньги и чтобы он мог употреблять эти деньги на бедных «апостольски», то есть безотчетно, а Гексли и другие с ним находят, что такой способ безотчетности теперь уже устарел и вреден прежде всего для самого великого раздавателя, так как неминуемо порождает сомнения: все ли назначаемое плыть через его руки в целости доплывает до бедных?..

Цибела была в сильном воодушевлении, и от нее начинали веять мерцательные движения, которыми она подавала знак, что далее полемизировать с нею небезопасно, но один иностранец позволил себе заметить, что никакой честный и воспитанный человек и сам ни за что не захочет брать на себя столько, чтобы действовать бесконтрольно...

Эти досадительные речи так больно укололи Цибелу, что она пустила мерцательные движения только бровями, ибо слово с чужими людьми тратить не стоило, и подала мне знак, что хочет со мной побеседовать.

И когда мы вышли в ее маленький будуар, она мне прямо сказала:

– С болгарами нужна осторожность.

– Да; кажется, – отвечал я и спросил: а вы что-нибудь о них узнали?

– Да... пожалуйста, тише, – мне сообщено, будто они... то есть не все, а некоторые... нарочно фабрикуют себе раны...

– Боже мой! – воскликнул я, – для чего же они это делают?

– Ну, что им удивляться!.. Они так низко пали, что им это ничего не значит, лишь бы

возбуждало к ним сочувствие и приносило выгоды. Но так как это дело уже доведено до полиции, то, – вы понимаете, – к нему нельзя привлекать первых дам.

– Конечно! – говорю – невозможно!

– Да! И вот вы именно застали меня в этом настроении. Для дела много уже сделано, и завтра должен был выйти мой артикль, под которым был должен подписаться Редедя, но я все остановила. Я сейчас же всех своих людей послала к Корибанту и в типографию, и к Редеде, чтобы статьи завтра не было, – и вот почему я сама и отперла вам двери; но ничего из моих людей до сих пор еще назад нет... И это меня страшно беспокоит и бросает в отчаяние, потому что если завтра выйдет артикль в пользу болгар с укоризнами нашему обществу, а полиция имеет сведения, что они сами где-то там делают искусственные раны, то... наша политическая репутация полетит кувыркком, не лучше репутации прекрасной Елены!

Я не находил слов, чтобы выразить Цибеле мои чувства, и только глядел на нее полным участия взглядом. А она была сильно встрево-

жена и, вставая, обтерла на висках капли холодного пота и заметила:

– Гости не в пору хуже татар, но, если они сейчас уедут, – пожалуйста, не уходите, пока я получу известие, что артикля не будет, а то мне как-то даже страшно!

Гости действительно уехали, а слуги, разосланные во все места, чтобы задержать артикль, еще не возвращались, и потому я остался в приятном *tete-a-tete* с Цибелой.

– Ах! вот мы теперь и одни! – сказала она. – Как я рада, что они уехали и я не обязана улыбаться, когда мне не до улыбок; но скажите, пожалуйста: что же это за цель, что за надобность или удовольствие им так над собою делать? Как вы это понимаете? – скажите мне откровенно.

– Откровенно, – говорю, – я тоже этого не понимаю, но по некоторым, так сказать, дипломатическим соображениям, я кое о чем догадываюсь.

– Ну, да! – как же вы догадываетесь!

– А вот видите... Есть тут одна... этакая... как вам сказать... техническая сторона... так сказать, самое производство этих ужасных

истязаний...

– В чем же тут вопрос?

– Сеченье розгами оставляет на теле следы...

– Ну да! и были следы! – живо перебила Цибела. – Это несомненно удостоверил тот, кого вы зовете моим Корибантом...

– Он-то и есть главный виновник всей этой истории.

Я чувствовал, что я сказал невесть что и оклеветал человека и должен продолжать.

– Чем он виноват! – воскликнула Цибела – Я его отлично знаю, и, что бы о нем ни говорили, но в этом деле он был очень предусмотрителен: он предвидел, что могут найтись люди, которые решатся даже оспаривать самый факт истязания, и потому когда приезжавшие к нему в гости болгары рассказывали, что они высечены, то он их осматривал! Да, да, да! Он многих из них раздел и осмотрел, и только когда увидел, что они действительно высечены, тогда только и стал называть их высеченными и показал их другим гостям. Если бы вы захотели видеть, то он и вам бы их показал. Здесь обмана не было.

– Подлог был.
– Почему вы это думаете?
– Я в этом уверен.
– Даже уверены!
– Конечно! – И я как-то деликатно рассказал Цибеле, что люди, высеченные в болгарской Софии, не могли бы довести своих рубцов до Петербурга и что... Но тут Цибела сама помогла Жомини.

Она вскричала:

– Стало быть, могут сказать, что они это приготовили здесь в Лештуковом переулке!

Жомини удивился: откуда взялось уже и указание на Лештуков переулок, о котором не упоминал первоисточник? Но говорить об этом теперь было некогда, потому что Цибела почувствовала себя дурно и обратилась к правам своего пола требовать услуги от наличного представителя другого пола.

– Я, – говорил Жомини, – подал ей воды и отыскал на указанном ею столике флакончик с спиртом, а она все беспокоилась, что люди не возвращаются, и артикль, может быть, уже печатают. И горю ее и тревоге не было пределов, а тут вдруг внезапно раздался звонок, и

она схватила дипломата за руку и совсем замерла, прошептав:

– Вот! они уже лезут!

Ей казалось, что к ней хотят ворваться болгары, но оказалось, что это пришел Редедя.

Он видел, что один слуга Цибелы ждет у Корибанта, а другой в типографии, и пришел сказать, что люди эти будут ожидать напрасно – потому что Корибант с обеда неожиданно уехал строить ригу в деревню.

– Но мой article! После того, что делают с собою болгары в Лештуковом переулке – я не желаю, чтобы за них бы выходил мой article!

– И его не будет.

– Но он, быть может, уже поставлен!

– И не поставлен.

– Но он мне так обещал.

– Ну и какая важность. Он обещал, а Фортинбрас съел ваш артикль.

– Что за Фортинбрас? Что вы такое говорите? Я ничего не понимаю.

– Сейчас поймете. «Фортинбрас» – это лицо, которое приходит на сцену, чтобы кончить терзания Гамлета. Шекспир был вещий поэт и отгадал, что во всякой истории должен

быть свой Фортинбрас, чтобы история получила конец. Если нет двуногого Фортинбраса – тогда годится и четвероногий. У нашего Корибанта есть пес по прозванию «Фортинбрас». Это совершенно невоспитанное животное доставляет удовольствие своему хозяину тем, что оно грызет и рвет что ни попало...

– И он изгрыз article! – воскликнула Цибела.

– Да; представьте, что этот Фортинбрас вскочил на стол и изорвал в мельчайшие куски несколько литературных произведений и в том числе этот article, и набирать было нечего!

– И потому моего артикля не будет.

– Да; артикля не будет.

Цибела вздохнула свободно и благодарственно перекрестилась.

– И этим все были спасены, – закончил Жомини. Смешная и неуместная затея, которая могла нас ослабить шутами, не осуществилась, благодаря одной случайности... и, может быть, всех более интриге Фортинбраса.

XV

Так кончил Жомини свой рассказ, и в это же время везший нас поезд стал удерживать ход, приближаясь к петербургскому вокзалу. Сейчас всем нам предстояло расстаться, и ни с чем не согласный князь сказал Жомини:

– Рассказ ваш таков, что я не могу, пожалуй, думать, что вы над нами хотите пошутить и посмеяться, но вот что приходится вам заметить, – мне ужасно это ваше злорадство над народным вкусом. Вам противны Ашинов и болгары, и вы их выводили на чистую воду, а почему же вы не вывели также начистоту Миклуху[34] с его несуществующими сочинениями и коллекциями, «собранными» в Лондоне?

– А это правда, – отвечал Жомини, – не до всех же нам дело! Притом Миклуха все-таки ведь умел прослыть образованным, и за него Россию даже хвалили. Что же нам до него? Мы знали, что он живет в Сиднее и ездит куда-то на дачу, но зачем спорить с учеными? Если они верят в Миклуху, то это нам безвредно и даже полезно. Приподнимать себя в уро-

вень с европейскими людьми – это наша слабость: и мы не боимся никаких предприимчивых людей, которые более или менее ловко умеют выдать себя за образованных особ, разъезжающих с высокими целями, но мы боимся таких, которые искренно и чистосердечно ведут себя как варвары.

– Это не в вашем вкусе?

– Конечно.

– И вы считаете себя вправе вредить им?

– Да.

– Так это вовсе не либерально.

– Боже мой! да кто же об этом и говорит!

Мы ищем того, что полезно!

– Кому?

– России и... всем... Вы знаете: лучше даже притворяться воспитанным, чем искренно щеголять варварством.

Примечания

Текст рассказа подготовлен для посвященного Н. С. Лескову тома «Литературного наследства», где он печатается в расширенном виде: с учетом всех редакций и вариантов; автограф хранится в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина – фонд 360, карт. 2. ед. хр. 16.

[^^^]

2

Речь идет о ближайшем окружении жены Александра II – о баронессе Н. К. Пиллар фон Пильхау и С. Е. Кушелеве (1821–1890), приятеле и покровителе Лескова в высшем свете и бюрократических кругах Петербурга. В 1873 г. писатель посвятил ему первопечатный текст рассказа «Очарованный странник».

[^^^]

Барон А. Г. Жомини (1817–1888), старший советник министерства иностранных дел. В качестве рассказчика – подставная фигура: отведенная ему роль (как и образ в целом) расходится с рядом мемуарных свидетельств; явно противоречит сюжету – см. ниже главу VII – единодушное утверждение современников, что Жомини плохо владел русским языком.

[^^^]

Р. А. Фадеев (1824–1883), генерал-майор, идеолог консервативной оппозиции, автор нашумевших книг «Русское общество в настоящем и будущем. (Чем нам быть?)» (1874) и «Писем о современном состоянии России» (1881); выдвигал программу укрепления самодержавия и реставрации дворянства. Редедей (имя козожского хана рубежа X–XI веков, убитого в поединке с Мстиславом) вслед за М. Е. Салтыковым-Щедринным («Современная идиллия») Лесков называет генерал-лейтенанта М. Г. Черняева (1828–1898), туркестанского генерал-губернатора, скомпрометировавшего себя крупными военными неудачами на Балканах в 1870-е гг. Лесков сблизился с обоими, постоянно сотрудничая в начале 1870-х гг. в издававшейся ими охранительной газете «Русский мир».

[^^^]

Б. М. Маркович (1822–1884), беллетрист, публицист, влиятельный чиновник министерства народного просвещения; в среде высшей бюрократии и петербургской знати – проводник инспирированных М. Н. Катковым внутриполитических реформ. Протежировал Лескову в придворных кругах и в редакции катковского «Русского вестника».

[^^^]

Поддерживая национально-освободительное движение в Болгарии, Россия поощряла и ее стремление к учреждению самостоятельной, автокефальной церкви, что вызывало сопротивление константинопольской патриархии и привело в 1872 г. к созыву Вселенского Собора и объявлению болгарской церкви схизматической. Говоря далее о позиции сынов церкви, Лесков имел в виду прежде всего Т. И. Филиппова (обычно писатель язвительно называл его «церквиным сыном»), литератора, в 1880-е гг. влиятельного сановника, видевшего в происшедшем расколе источник ослабления православной церкви.

[^^^]

Это библейское выражение приобрело в XIX веке злободневный смысл, связанный для Лескова с идеей национальной ограниченности. В 1888 г., обсуждая с А. С. Сувориным фразу из передовой статьи «Нового времени», посвященной речи О. Бисмарка («Необходимо <...> чтобы вера в счастливое и мирное развитие нашей родины вызывала в каждом русском слова: „С нами Бог!“), Лесков откровенно иронизировал: «Бога, конечно, разорвали. С ними [т. е. с немцами. – О. М.

[^^^]

Н. И. Ашинов в 1888–1889 гг. предпринял экспедицию в Абиссинию, действуя от имени российского правительства, для присоединения «черных христиан» к «власти белого царя». Поддерживали Ашинова и М. Н. Катков, и К. П. Победоносцев. В 1889 г. он был взят в плен французами, переправлен в Россию и отдан под полицейский надзор. Описанная далее Лесковым истерия вокруг этого авантюриста подтверждается документально. В 1887 г. А. А. Киреев (см. о нем примеч. 23) записал в дневнике: «Долго у меня сидел Ашинов. Добродушный, хотя и не без хитрости, таким <...> должен был быть и Кортес, и Пизарро, и Ермак. По его мнению, война такое же ремесло, такое же занятие, как и прочие, торговля, мореходство и т. п. „Мы что же действуем не из-за угла, как разбойники <...> а что всяким чиновникам не стать нам, вольным казакам, подчиняться <...> да много ли они поймут из того, что нужно России да православию“ (Государственная библиотека им. В. И. Ленина, фонд 126. ед. хр. 10. лист 233 об. 234).

[^^^]

М. П. Розенгейм (1820–1887), поэт, публицист, генерал-майор, военный судья петербургского военно-окружного суда.

[^^^]

Речь идет, по-видимому, о возглавленном майором К. А. Паницей (1857–1890) восстании оппозиционного офицерства против правившего в Болгарии с 1887 г. Фердинанда Кобургского, ставленника Австрии. Русская дипломатия в 1887 г. установила с Паницей контакты, но, недовольная его условиями, в помощи отказала.

[^^^]

Под именем Цибелы (или Кибелы; греческая богиня, предмет экстатического культа) выведена О. А. Новикова (урожд. Киреева, 1840–1925), близкая к славянофильским кругам, известная своими публицистическими выступлениями хозяйка политического салона в Лондоне. Ее Корибант (в мифологии безумствующий жрец Цибелы) – В. В. Комаров (1838–1907), отставной полковник генерального штаба, редактор-издатель охранительной газеты «Свет». Лесков испытывал к нему стойкую неприязнь как к литературному дельцу и бездарному журналисту еще со времен совместного сотрудничества в газете «Русский мир».

[^^^]

Статъи (от англ. – article).

[^^^]

Двусмысленная фраза характеризует в большей мере героиню, чем ситуацию. Речь идет, вероятно, о славянофильском по духу влиянии, которое Ф. И. Тютчев в 1860-е гг., будучи председателем комитета иностранной цензуры, пытался оказывать на А. М. Горчакова, с которым поддерживал тесные дружеские контакты.

[^^^]

Т. е. Болеславу Марковичу (см. примеч. 4). Французский вариант имени должен был, очевидно, напомнить о сатирическом персонаже романа И. С. Тургенева «Новь» Ladislas'e, в котором современники безошибочно узнавали Б. М. Марковича.

[^^^]

Если в самом деле Лесков имел в виду реальное лицо (о котором в том же ключе писал в статье «Пресыщение знатностью» и чертами которого наделил Дон Кихота Рогожина из «Захудалого рода» и «испанского дворянина» из романа «На ножах»), то имя и фамилия его искажены: по официальным данным, в 1850-е в Орловской губернии жил (и служил попечителем хлебных запасных магазинов в Брянском уезде) коллежский регистратор Дмитрий Иванович Козелкин.

[^^^]

В. М Тютчев, орловский губернский предводитель дворянства в 1838–1847 гг.

[^^^]

Прототип этой героини не установлен. В других произведениях, описывая, безусловно, ту же помещицу. Лесков называл ее Настасьей Сергеевной Ивановой, жившей в селе Зиновьеве; к воспоминаниям о ней же восходят образы центральных героинь писателя – Марфы Плодомасовой из «Соборян» и княгини Протозановой из «Захудалого рода».

[^^^]

Т. е. был награжден третьим и четвертым по очереди знаками отличия, учрежденными для священников.

[^^^]

правдами и неправдами (*лат.*).

[^^^]

Князь В. П. Мещерский (1839–1914), велико-светский романист, редактор-издатель консервативной газеты «Гражданин» (где Лесков изредка печатался в 1870-е гг.), выступал с тотальной критикой реформ 1860-х гг. как первопричины «уничтожения дворянства». Его влияние на Александра III вызывало общее недовольство из-за скандальной репутации Мещерского: в описываемое Лесковым время «...огласилась пакостная его история с каким-то флейтчиком или барабанщиком... Можно ли было не скорбеть, что государь дал повод человеку, опозоренному в общественном мнении, злоупотреблять его именем?» (Е. М. Феоктистов. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, с. 247).

[^^^]

Героиня упрощает позицию И. С. Аксакова, сторонника самоупражнения дворянства и распространения его привилегий на все сословия.

[^^^]

Аксаков-публицист пользовался поддержкой и учитывал интересы купечества; по приглашению московских купцов, в частности В. А. Кокорева (1817–1889), крупного промышленника и миллионера, Аксаков стал членом (с 1874 г. – председателем) правления Московского купеческого общества взаимного кредита, участвовал в выгодных торговых и финансовых операциях.

[^^^]

И. Ф. Цион (1835–1912), доктор медицины, публицист, друг и корреспондент Каткова. После смерти Каткова (1887) печатно утверждал, что тот сам «предназначал именно его своим преемником по изданию „Московских ведомостей“ (Е. М. Феоктистов. Указ. соч., с. 269).

[^^^]

Неточная цитата из «Думы» Лермонтова.

[^^^]

Речь идет, очевидно, о салоне С. А. Толстой, вдовы А. К. Толстого. Тот же эпизод Лесков включил в статью «О куфельном мужике и проч.» (1886), отнеся его к середине – концу 1870-х гг. Тему «кухонного мужика» Лесков связывал и со «Смертью Ивана Ильича» Л. Н. Толстого.

[^^^]

А. А. Киреев (1833–1910), известный публицист славянофильской ориентации, генерал-лейтенант, адъютант великого князя Константина Николаевича.

[^^^]

Цитата из вступления к «Медному всаднику»
Пушкина.

[^^^]

М. И. Пыляев (1842–1899), историк быта, автор книг «Старый Петербург» и «Старая Москва». Будучи его приятелем, Лесков принимал участие в подготовке предисловий к обеим книгам.

[^^^]

Г. П. Данилевский (1829–1890), редактор официальной газеты «Правительственный вестник», плодовитый беллетрист. С 1870-х гг. Лескова связывали с ним приятельские отношения, не чуждые соперничества и недоброжелательства.

[^^^]

Намек на А. П. Милюкова (1817–1897), литератора, давнего знакомого и приятеля Лескова, автора книги «На улице и еще кое-где. Листки из памятной книжки» (СПб., 1865), полной жанровых зарисовок: «В веселую минуту я люблю иногда поболтать и пошутить с извозчиком, особенно если он деревенский» (с. 75).

[^^^]

одно вместо другого (*лат.*), т. е. смешение понятий, путаница, недоразумение.

[^^^]

Т. е. тетрадки – ходившие в рукописях сочинения Л. Н. Толстого (в данном случае речь идет, возможно, о «Крейцеровой сонате»).

[^^^]

Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825–1895), зоолог, в 1883–1885 гг. президент Лондонского королевского общества. *Бутс (Бус) Вильям* (1829–1912), английский проповедник, основатель «Армии спасения».

[^^^]

Лесковское сближение Н. Н. Миклухо-Маклая (1846–1888) с Н. И. Ашиновым объясняется, вероятно, предложением ученого (1886) создать русскую колонию-коммуна на одном из островов Тихого океана. Проект был отвергнут властями и вызвал насмешки прессы.

[^^^]